

ЧАС МИРОВЫХ СИРОТСТВ¹

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.
А.Блок²

В письме к Анатолию Штейгеру от 29 июля 1936 г. Марина Цветаева сделала приписку на полях: «Какая скука – рассказы в «Современных записках» – Ремизова и Сирина. Кому это нужно? Им – меньше всего, и именно поэтому – никому».³

Речь идет о рассказе Набокова (тогда – Сирина) «Весна в Фиальте» и рассказе Ремизова «Болтун» («Современные записки» № 61 за 1936 г.). Она небрежно, мимоходом (на полях) свела к нулю два произведения (нет, не свела – не получилось). – Не услышала? Не расслышала? – Она! – так слышащая слово, звук, так изоощренно метафоричная и в стихах и в прозе. Неужели житейские обстоятельства, бытовые неустройства помешали разглядеть, расслышать...

Вы мне возразите, дескать, а как же Адамович не расслышал Цветаеву? А я отвечу – может у него слух плохой. А как же Бунин, не оценивший ее? – тоже слух плохой? – Вряд ли. – Таких примеров взаимной глухоты среди творцов Серебряного века – не перечить. Что это? – Воздух времени? – Пожалуй. Ну, конечно, ВРЕМЯ – главное действующее лицо в потоке жизни, не подвластное никому и ничему. – Оно дышит, меняет ритм своего дыхания (то плавное и спокойное, то судорожными рывками), оно диктует поступки, оно – главный двигатель и главный виновник всех людских взлетов, падений и неустойств.

Оно одним огромным судорожным выдохом выбросило их из дома, и начался, как говорит Цветаева – «Час мировых сиротств». Час – длиною в жизнь, у всех, кто не совпадал со временем. И у тех, кто остался, и у тех, кто уехал. Уехавшие смогли поменять только пространство – да, оно подвластно, но время поменять – не дано.

Алексей Михайлович Ремизов пишет: «И то, что очутился за границей, оторван от России, живу «под покровительством Божьим», как дикий зверь, но с газом, электричеством, лифтом, свободно, не отбывая никаких повинностей, никому не отдаю отчет в своих мыслях, что хочу, то и думаю: все это нисколько не меняет моей судьбы. Я ни от чего не убежал...»⁴

Однако, оставим обобщения и обратимся к одному мгновению этого времени. Посмотрим на «Весну в Фиальте».

Набоков обращает наше внимание на непрерывный поток жизни со всеми ее милыми, нелепыми и парадоксальными подробностями. И душевная боль, и сломанная судьба – есть тоже былинки этого непрерывного потока. Они вписаны в канву великого произведения, сотворенного Всевышним – жизни на Земле. Набоков приглашает нас полюбоваться повседневностью с ее ничтожными переливами маленьких страстей. Все самоценно, говорит он, – сам процесс жизни притягателен и неотразим, – нет ничего лучше. Нет ничего грустнее. В ней все случайно. – Может быть, – судьба – это обильный набор случайностей? Рассказ, в котором главная героиня – Случайность (впрочем, у него есть рассказ с таким названием – «Случайность»). Случайная давняя связь с женщиной, случайный приезд в почти игрушечный приморский городок, случайная гибель этой женщины в автомобильной аварии...

«Я приехал ночным экспрессом, в каком-то своем, паровозном, азарте норовившем набрать с грохотом как можно больше туннелей; приехал невзначай, на день, на два, воспользовавшись передышкой посреди делового путешествия. Дома я оставил жену, детей: всегда присутствующую на ясном севере моего естества, плывущую рядом со мной, даже сквозь меня, а все-таки вне меня, систему счастья...».

«Голова у меня была прозрачна после бессонной ночи; я все понимал: свист дрозда в миндальном саду за часовней, и мирную тесноту этих жилых развалин вместо домов, и далекое за вуалью воздуха, дух переводящее море...».

Дай мне волю, я процитировала бы весь рассказ – от первой строчки до последней.

«Улица была все такая же влажная, неоживленная; чадом... несло из голых окон бледных домов; небольшая компания комаров занималась штопаньем воздуха над мимозой, которая цвела спустя рукава до самой земли; двое рабочих в широких шляпах закусывали сыром с чесноком, прислонившись к афишной доске, на которую были наклеены гусар, укротитель в усах и оранжевый тигр на белой подкладке, причем в

стремлении сделать его как можно свирепее, художник зашел так далеко, что вернулся с другой стороны, придав его морде кое-что человеческое».

В рассказе Набокова вся окружающая природа и весь городской декор живут в своем ритме, своей жизнью – все одушевлено и имеет свой характер (даже мимоза, которая цветет так, – «спустя рукава»).

Афиши бродячего цирка возникают на протяжении рассказа много раз, причем всегда мимоходом, как и следует. Вдруг в финале – этот бродячий цирк выполняет назначенную ему автором роль судьбы.

Героиню зовут Нина: «Сам не понимаю, что значила для меня эта маленькая узкоплечая женщина, с пушкинскими ножками (как при мне сказал о ней русский поэт, чувствительный и жеманный, один из немногих людей, вздыхавших по ней платонически), а еще меньше понимаю, чего от нас хотела судьба, постоянно сводя нас. Вновь и вновь она впопыхах появлялась на полях моей жизни. Совершенно не влияя на основной текст».

«...как будто все эти города, где рок назначал нам свидания, на которые сам не являлся, все эти платформы, и лестницы, и чуть-чуть бутафорские переулки, были декорациями, оставшимися от каких-то других доигранных жизней...»

Вот ее муж Фердинанд – писатель. «Насмешливый, высокомерный, всегда с цианистым каламбуром наготове, со странным выжидательным взглядом египетских глаз, этот мнимый весельчак действовал неотразимо на мелких млекопитающих. Узнав, что и он в Фиальте, я почувствовал знакомый упадок душевных сил; только одно ободряло меня: недавний провал его новой пьесы».

Вот круг приятелей, сидящих в кафе: «Тут были: живописец с идеально голой, но слегка обитой головой, которую он постоянно вписывал в свои картины; и поэт, умевший посредством пяти спичек представить всю историю грехопадения, и благовоспитанный, с умоляющими глазами, педераст; и очень известный пианист, так с лица ничего, но с ужасным выражением пальцев; и молодеватый советский писатель с ежом и трубочкой, свято не понимавший, в какое общество он попал».

Все так хорошо, так спокойно, а между тем в душе героя сгущается грусть, потом тревога. Отчего? – Ведь никакого повода нет. И вот финал рассказа – «...белое небо над Фиальтой незаметно налилось солнцем, и теперь оно было солнечное сплошь, и это белое сияние ширилось, ширилось, все растворялось в нем, все исчезало, и я уже стоял на вокзале, в Милане, с газетой, из которой я узнал, что желтый автомобиль, виденный мной под платанами, потерпел за Фиальтой крушение, влетев на полном ходу в фургон бродячего цирка, причем Фердинанд и его приятель... отделались местным и временным повреждением чешуи, тогда как Нина... оказалась все-таки смертной».⁵

«Какая скука...», – пишет Марина Цветаева. Она увидела и услышала только пустоту. А через семьдесят лет – и я, и мои (и не мои) студенты находим в рассказе и тоску, и боль от сгустившейся пустоты, в которой душа томится. Прошло уже семьдесят лет (всего семьдесят лет), а душевные переливы (у кого душа – есть) – те же, и так же мечется сознание – от самоиронии к самооправданию, самоутверждению. Нет, пока у человека есть мозги, душа и тело – Набокова будут читать (узкий круг? – да!) – удивленно узнавая свои мысли, и находить созвучие со своей душой. Узнавать себя – там.

В этом семестре два молодых человека (студенты режиссерского факультета ГИТИСа) посягали на «Весну в Фиальте». Пришлось убеждать обоих – не брать (по причинам глубоко индивидуальным) этот рассказ в работу, хотя, между нами говоря, я была счастлива, что они принесли мне Набокова. Каждый из них согласился поменять рассказ, но не автора. В результате – один взял «Сказку», другой – рассказ «Ужас». Этот второй парень: очень «кавказской национальности», очень невысокого роста, с прекрасными, умными, грустными глазами – когда я убеждала его не брать Фиальту, сказал: «Там у Набокова – все мое. Когда я первый раз читал его рассказы – я плакал». Вот!

А расхожее мнение, что Набоков – холодный эстет, и его рассказы просто «хорошо упакованы» – ? Спорить и доказывать обратное (тем более, что он действительно эстет) – нет необходимости. Это доказали мои студенты. Они еще не знают, что Набоков «холодный» и «эстет». А я им не скажу.

Адамович в статье о Набокове сокрушается, что автор, при всем его даровании, пишет не так, как Лев Толстой: «Читаешь его – и восхищаешься: как искусно, как блестяще! Но тут же недоумеваешь, чуть ли не пожимаешь плечами: к чему этот блеск? Неужели в настоящей литературе нужен блеск? Что за ним? ...Что-то в этом редкостном даровании неблагоприятно. Что именно?»⁶

«Набоков все ближе и ближе подходит к вечной, вечно загадочной теме – к смерти... Подходит без возмущения, без содрогания, как у Толстого... Тема смерти была темой многих великих и величайших поэтов, но были эти поэты великими только потому, что стремились к ее преодолению или хотя бы только бились головой о стену, ища освобождения и выхода».⁷

«Он, несомненно, единственный в эмиграции подлинный поэт, который учился и чему-то научился у Пастернака». Отдавая должное одаренности Пастернака (уже слава Богу), Адамович затем долго и неубедительно (на мой взгляд), анализируя стихи Пастернака, приходит к выводу, что: «Пастернак неясен как поэт, т. е. неясен в целом». Мало того, оказывается Пастернак – разрушитель чужих талантов: «Пыталась перенять некоторые его черты Марина Цветаева, но на этом и сгубила свое когда-то очаровательное дарование. К чему ей был Пастернак? ...Цветаева, начитавшись Пастернака, «влюбившись» в него после нескольких литературных влюбленностей, стала ежеминутно, в каждой строчке сбиваться, спотыкаться, задыхаться. Речь перешла в сплошные восклицания и вскрикивания...»⁸

Сказать о Цветаевой – «очаровательное дарование» – это ...«пожатье плеч».

Итак: Адамович не понял М.Цветаеву,
которая не поняла В.Набокова,
который научился у Б.Пастернака,
который разрушил «очаровательное дарование» М.Цветаевой.

Прошу прощения за это не очень лирическое отступление.

К рассказу А.М.Ремизова «Болтун» подхожу с трепетом.

В статье о Ремизове Адамович продолжает сокрушаться, что и этот автор – тоже пишет не так, как Толстой: «...подлинная жизнь – у Толстого, а у Ремизова, при всей его изощренности, при всем его искусстве, что-то очень похожее на стилизацию, на подделку под совершенную непринужденность...».⁹ М.Цветаева всегда высоко ценила литературный дар Ремизова, и только «Болтун» ей почему-то не пришелся. Может быть, не совпал с ее тогдашним мироощущением?

«Болтун» – рассказ обобщающий бесприютность русской эмиграции. Некуда прислонить душу (все чужое) – а она есть, она живая, и ей нужно болеть – за себя или за человечество: «...боль, это чистейшее чувство – горький цвет жизни. И вот перед лицом этой боли я становлюсь на колени и прошу, – о чем прошу, не знаю – и о чем просить и чего хотеть...»,¹⁰ – пишет Ремизов в другом рассказе.

Итак, герой – Иван Федорович. Сначала идет неторопливая биография, написанная с теплой, густой иронией, ремизовским разговорным языком.

«С тех пор, как Иван Федорович помнил себя, он помнит, что тетушка и дядюшка говорят. Говорят и говорят. И никому нет возможности вставить слово. И от гостей, приходивших в дом, у Ивана Федоровича остались одни междометия. И еще помнит, и это было единственный раз: он при гостях попробовал сам что-то рассказать, но тетушка перебила его, назвав при всех «болтуном». И надо или не надо, поминала ему этого болтуна, так что на всю жизнь у молчальника Ивана Федоровича осталось, что он «болтун».

Читать Иван Федорович не только любил, как любят и чтением занять время, чтение было для него все.

Книга и сблизила нас.

Я довольно часто бывал у него в Большом Афанасьевском, реже он заходил ко мне на Собачью площадку. И должен сказать, посещения его бывали всегда очень тягостны. Сидит и молчит. Но главная беда еще впереди: сидит, молчит и уйти не может... И так проходил час и другой. Не совсем это ловко, а приходилось выпроваживать: скажешь, пора; или рано вставать, или голову сочинишь, разболелась».

Болтун Иван Федорович всегда молчал, окончив университет – на службу не поступил, дважды пытался жениться – но «оба раза не вышло». Затем – революция, эмиграция, тетушка и дядюшка умерли...

«И вот в Париже, лет шесть назад мы встретились на рю Дарю после всеобщей. Но какими судьбами попал Иван Федорович в Париж и как в Париже устроился... Из Константинополя перебрался Иван Федорович чудесным образом: если бы не отец Серапион – отец Серапион его и вывез с мощами в Париж. И тут он нашел себе подходящее дело: «похоронный агент». ...У него собралась порядочная клиентура среди эмиграции, и он отдается похоронному делу, как когда-то чтению книг. – А его библиотека? – Все пропало. Но понемногу восстанавливает. И прежде всего купил «Мертвые души»... Но главное, чем он гордился, это коллекция покойников: писатели, артисты, художники, политические деятели, умершие в эмиграции. И тут же, как приложение, туго набитый конверт с вырезками: «кандидаты»... ...эмигрантскую жизнь – точнее, эмигрантскую смерть он принимал близко к сердцу.

– Положение катастрофическое! Последнее, что остается от человека – его похороны, и они должны быть справлены не как-нибудь... Иван Федорович предсказывал, что если сейчас же чего-то не сделать, дело обернется так, что никакое похоронное общество не согласится хоронить русского, и вся эмиграция очутится в критическом положении:

– Негде хоронить – не на что.

Он надеется, что после Святой ему удастся кое-что осуществить.

– И тогда дело будет спасено».

Он нашел, наконец, свое место и призвание – он знает, для чего живет. И вот, спустя несколько месяцев, наш герой устроил, выражаясь современным языком, – презентацию. Он собрал «кандидатов» на торжественный прием в дорогом ресторане на рю де Риволи.

«И, когда я поднялся и вошел в зал, я почувствовал себя очень неловко... ...парадный зал, двенадцать столов на двенадцать приборов каждый, в лоханках шампанское, цветы, отдельный стол с ордёврами – и чего-чего там не было! А по стене шикарные гарсоны.

...Подходили все новые приглашенные, знакомые и незнакомые. Я увидел и очень известных в эмиграции, можно сказать самых китов: генералы, юристы, доктора и кое-кто из писателей с «супругой», как пишут в панихидных отчетах.

И вдруг появился Иван Федорович.

Одет он был парадно. А смотрел – и теперь я понял, в чем его перемена: он был необыкновенно спокоен, уверен и... доволен.

– Господа, я всем вам обеспечил место.

... любопытство и нетерпение возросло до крайности, особенно же для безработных и кандидатов: место? – где? какое?

– На кладбище Тиэ, – не без гордости сказал Иван Федорович, – я приобрел там три дивизиона и построю часовню.

– Что обеспечил? – приложив руку к уху, перебил старичок пушкинист Сергей Сергеич, до которого только что дошло: «обеспечил».

– Могилу, – сказал Иван Федорович.

– Что-что?

И, так же приложив руку, только ко рту, не к уху, повторил Иван Федорович раздельно:

– Мо–ги–лу.

И на эту громовую «могилу» – кто куда.

Старичок пушкинист Сергей Сергеич, разобрав, наконец, какое такое обеспечено место,... бросился к окну – очертя голову бросаться, и выбросился бы благополучно, он, потеряв равновесие,... рассыпался на мелкие кусочки, и что было Пушкин, и что Сергей и что Сергеич – все смешалось». (Далее следует описание общей паники и убегания – «кто куда»).

Оставшимся шестерым Иван Федорович поведал – «Он описывал нам прелести Тиэ – три дивизиона – на сто сорок четыре покойника – число приглашенных на банкет. И подробно распространялся: проект часовни.

– Три дивизиона, – повторил он, – я всем обеспечил место».

А ночью снится герою сон (Ремизов – без сна – не Ремизов), страшный сон, в котором с него содрали кожу, и он проснулся. А затем... где явь, где сон...

«Иван Федорович вскочил к окну, срыву распахнул окно: Москва!

Москва золотом сияла перед ним и так это близко, как ранним утром из окна вагона, подъезжая к станции Рогожской. Без труда он нашел Арбат – Большой Афанасьевский и Серебряный, ...Пречистинский бульвар, где крылатый, из огня слитой Гоголь, зябнет черной холодной лягушкой: ...Калитниково кладбище – убежище бедноты, и Ваганьково... – Но это не Калитниково и не Ваганьково, теперь он ясно видит, а Пер-Лашез, а там – Монпарнас, Пасси, а вон – Банье, Иври, Клиши – и все это от Пер-Лашез до Клиши принадлежит ему!

Не задерживаясь, Иван Федорович вышел.

И, проходя мимо консьержки, первой объявил ей, что скупил все кладбища Парижа – и место всем обеспечено! Еще хотел он предупредить консьержку, что ожидает президента республики, который непременно явится его поздравить – но уж президент вошел и пробирался к лифту: Иван Федорович узнал его по цилиндру.

– Мосьё Лебрэн!, – хотел он окликнуть, но, только махнув рукой, – «подождет!», – пошел к двери.

Очувтившись на улице, от воздуха, что ли, ещё больший почувствовал он прилив нечеловеческой силы и свободу. И по мере того, как подымался он по Шардон-Лягаш, он скупал все новые и новые кладбища...».

Как это часто у Ремизова – притчевая основа доведена до гротеска, а затем до абсурда, да еще такого страстного, торжествующего.

«Жалко ему весь мир – этот мир «проклятьем заклеянный»: сколько веков! – жил-жил, а как пришел конец, и свезут тебя, как на свалку. Нет, он, Иван Федорович, болтун, теперь всемогущий, и дана ему власть: всему миру обеспечит он место! От полюса до полюса – и он увидело ясно ледяные поля на юге и ледяные поля на севере – и в этих белых сверкающих пустынях он построит по часовне, отец Серапион будет служить панихиды...»¹¹

Гимн всемирному кладбищу – пропет: люди всего мира могут быть спокойны и счастливы – им есть куда лечь.

В обоих рассказах – мысль о жизни и смерти (о чем же еще?). Только в первом рассказе – нежная прелесть самого непрерывного потока жизни. И вдруг – случайная (неизбежная!) смерть, а во втором – вся жизнь человека – прелюдия к главному событию – возвращению в землю.

А теперь вернемся к началу статьи – письму Марины Цветаевой к Анатолию Штейгеру от 29 июля 1936 г. Чем жила в этот период М.Цветаева? – Она была поглощена заботами о спасении жизни и души молодого поэта Анатолия Штейгера.

Наконец-то встретила

Надобного мне:

У кого-то смертная

Надоба во мне...¹²

(цикл «Стихи сироте», написанные в августе-сентябре 1936 г., посвящены ему).

Историю их взаимоотношений она рассказывает в письме к Анне Тесковой (привожу фрагменты):

«Он – туберкулезный, давно и серьезно болен – ему 26 или 27 лет. Уже привязавшись к нему – обещала писать ему каждый день... И так – каждый день, и не отписки, а большие письма, трудные, по существу: о болезни, о писании, о жизни... Мне показалось, что ему от моей устремленности – как будто – лучше, что – оживает, что – м.б. – выживет – и физически и нравственно... Намечалась и встреча. То он просил меня приехать к нему – ...то я звала – ...и он совсем-было приехал... но вдруг, после операции, ухудшение легких – бессонница – кашель... Тогда я стала налаживать свою швейцарскую поездку этой осенью – ...множество времени потратила и людей вовлекла – осенью оказалось невозможно, но вполне возможно – в феврале... Словом, радостно пишу ему, что *всё – сделано*, что в феврале – встретимся – и ответ: «Вы меня не так поняли – а впрочем и я сам точно не знал – словом... в ноябре выписывается совсем, ибо легкие – что осталось – залечены, и процесса – нет. Д-р хочет, чтобы он жил зиму в Берне, с родителями, – он же сам решил – в Париж.

– п.ч. в Париже – Адамович – литература – и Монпарнас – и сидения до 3 ч. ночи за 10-ой чашкой черного кофе –...

Вот на что я истратила и даже растратила *le plus clair de mon été*.

На это я ответила – правдой всего существа. Что нам *не по дороге*: что моя дорога – и ко мне дорога – уединенная. И все о Монпарнасе. И все о *душевной* немощи, с которой мне нечего делать.

...Мне поверилось, что я кому-то – как хлеб – нужна. А оказалось – не хлеб нужен, а пепельница с окурками: не я – а Адамович и Сопр.

– Горько. – Глупо. – Жалко.

Теперь усиленно принимаюсь за Пушкина, – сделано *уже* порядочно, но моя мечта – перевести все мои любимые (отдельные) стихи.

Это вернее – спасения души, которая *не хочет* быть спасенной»¹³ (она написала Штейгеру 30 писем).

На свой, неизменно мощный, страстный порыв, она всегда требует равноценного отклика. Чаще всего люди пугаются такого напора: ведь она, в пристрастии своем, требует – *так живи, так чувствуй, так* поступай. Лавина требований и призывов – «быть выше себя» – лишает человека свободы, – он потихоньку отодвигается. – Возвращается к себе. Она же, каждый раз воспринимает это как предательство. И ей опять больно.

Вот в какой густо эмоциональный контекст ее жизни попали те два рассказа – Ремизова и Набокова. Разумеется, она их не услышала. В это время она слышала только свою душу, всю устремленную к Штейгеру: «...нуждайтесь во мне и радуйтесь мне до февраля»¹⁴. Подробно – весь психологический ряд этих взаимоотношений – описан и разобран в книге Анны Саакянц «Марина Цветаева. Жизнь и творчество».

А то, что внутри статьи время от времени, как чертенок из-за печки, выскакивает Адамович – нет ничего удивительного: вокруг А.М.Ремизова всегда крутится какая-нибудь мелкая и обаятельная нечистая сила.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Цветаева М.* Собр. соч.: В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994–1995. Т. 2, С. 118

² *Блок А.* Стихотворения. Лениздат, 1970. С. 118

³ *Цветаева М.* Собр. соч. В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994–1995. Т.7, С. 658

⁴ *Ремизов А.* Собр. соч. В 10 т. М.: Русская книга, 2002. Т. 9, С.259-260

⁵ *Набоков В.* Собр. соч. В 4 т. М.: Правда, 1990. Т. 4, С. 305-322

⁶ *Адамович Г.* Одиночество и свобода. СПб.: Азбука-классика, 2006. С.202

⁷ Там же. С. 206

⁸ Там же. С.212-213

⁹ Там же. С. 176

¹⁰ *Ремизов А.* Собр. соч. В 10 т. М.: Русская книга, 2002. Т. 9, С. 294

¹¹ Там же. С.415-433

¹² *Цветаева М.* Собр. соч. В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994–1995. Т. 2, С. 340

¹³ *Цветаева М.* Собр. соч. В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994–1995. Т. 6, С. 440-441

¹⁴ *Цветаева М.* Собр. соч. В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994–1995. Т. 7, С. 615